

Франко Моретти

# Буржуа

между историей  
и литературой



ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ИНСТИТУТА  
ГАЙДАРА

Франко Моретти

**Буржуа: между  
историей и литературой**

«Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара»

2013

УДК 81.02  
ББК 83.01

**Моретти Ф.**

Буржуа: между историей и литературой / Ф. Моретти —  
«Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара», 2013

ISBN 978-5-93255-394-7

В этой книге выдающийся итальянский литературовед Франко Моретти подробно исследует фигуру буржуа в европейской литературе Нового времени. Предлагаемая Моретти галерея отдельных портретов переплетена с анализом ключевых слов – «полезный» и «серьезный», «эффективность», «влияние», «комфорт», «гоба» и формальных мутаций прозы. Начиная с «трудящегося господина» в первой главе через серьезность романов XIX столетия, консервативную гегемонию викторианской Британии, «национальные деформации» южной и восточной периферии и радикальную самокритику ибсеновских пьес эта книга описывает превратности буржуазной культуры, рассматривая причины ее исторической слабости и постепенного ухода в прошлое. Книга представляет интерес для филологов, историков, социологов, философов.

УДК 81.02  
ББК 83.01

ISBN 978-5-93255-394-7

© Моретти Ф., 2013  
© Институт экономической политики  
имени Е.Т. Гайдара, 2013

## Содержание

Источники	6
Введение: понятия и противоречия	7
1. «Я – представитель буржуазного класса»	7
2. Диссонансы	9
3. Буржуазия, средний класс	12
4. Между историей и литературой	15
5. Абстрактный герой	17
6. Проза и ключевые слова: предварительные замечания	19
7. «Бюргер пропадет...»	21
Глава I	24
1. Приключение, предприятие, Фортуна	24
Конец ознакомительного фрагмента.	25

**Франко Моретти**  
**Буржуа: между историей и литературой**

*Посвящается Перри Андерсону и Паоло Флоресу д'Аркаису*

First published by Verso 2013

© Издательство Института Гайдара, 2014

\* \* \*

## Источники

Несколько слов о некоторых источниках, часто используемых в данной книге. Корпус *Google Books* – это собрание нескольких миллионов книг, которое позволяет проводить очень простые поиски. База данных Чэдвик-Хили (Chadwyck-Healey database) по девятнадцатому веку объединяет 250 крайне тщательно отобранных британских и ирландских романов, написанных в период с 1782 по 1903 год. Корпус «Литературной лаборатории» включает около 3500 британских, ирландских и американских романов девятнадцатого века.

Я также ссылаюсь на словари, указывая их в скобках, без дальнейших уточнений: OED – это «Оксфордский словарь английского языка», Robert и Littré – французские словари, Grimm – немецкий, а Battaglia – итальянский.

## Введение: понятия и противоречия

### 1. «Я – представитель буржуазного класса»

Буржуа... Еще совсем недавно это понятие казалось незаменимым для социального анализа, теперь вы можете прожить годы и ни разу его не услышать. Капитализм силен как никогда, но люди, которые были его олицетворением, по-видимому, исчезли. «Я – представитель буржуазного класса, таковым себя ощущаю и воспитан на его воззрениях и идеалах», – писал Макс Вебер в 1895 году<sup>1</sup>. Кто сегодня может повторить эти слова? Буржуазные «воззрения и идеалы» – что это?

Эта изменившаяся атмосфера нашла отражение в академических работах. Зиммель и Вебер, Зомбарт и Шумпетер, все они рассматривали капитализм и буржуазию – экономику и антропологию – как две стороны одной медали. «Я не знаю ни одной серьезной интерпретации истории нашего современного мира, – писал Иммануил Валлерстайн четверть века назад, – в которой отсутствовало бы понятие „буржуазия“... И это неслучайно. Трудно рассказывать историю, в которой бы отсутствовал основной протагонист»<sup>2</sup>. Однако сегодня даже те историки, которые больше других подчеркивают роль «мнений и идеалов» в зарождении капитализма – Эллен Мейксинс Вуд, де Фрис, Эпплби, Мокир, – фигурой буржуа интересуются мало или не интересуются ею вовсе. «В Англии был капитализм, – пишет Мейксинс Вуд в «Первозданной культуре капитализма», – но его породила не буржуазия. Во Франции была (более или менее) торжествующая буржуазия, но ее революционный проект не имел отношения к капитализму». Или, наконец: «Необязательно отождествлять *буржуа*... с *капиталистом*»<sup>3</sup>.

Все правильно, отождествлять необязательно, но дело не этом. В «Протестантской этике и духе капитализма» Вебер писал, что «возникновение западной буржуазии во всем ее своеобразии» – это процесс, который «находится в тесной связи с возникновением капиталистической организации труда, но не может считаться полностью идентичным ему»<sup>4</sup>. В тесной связи, но не может считаться полностью идентичным: вот идея, лежащая в основе «Буржуа» – взглянуть на буржуа и на его культуру (буржуа в истории, по большей части, определенно был мужского рода) как на часть структуры власти, с которой они, однако, не совпадают целиком. Но говорить о буржуа в единственном числе само по себе сомнительно. «Крупная буржуазия не может официально отделиться от „новых пришельцев“, – писал Хобсбаум в «Веке империи», – поскольку ее структуры нуждались в притоке свежих сил и должны были оставаться открытыми, так как от этого зависело ее существование»<sup>5</sup>. Эта проницаемость, добавляет Перри Андерсон, отличает буржуазию от знати до нее и от рабочего класса после нее. Ибо несмотря на все важные отличия внутри каждого из этих противостоящих друг другу классов, в структурном отношении они гораздо однороднее: аристократию обычно определяет юридический ста-

---

<sup>1</sup> Max Weber, 'Der Nationalstaat und die Volkswirtschaftspolitik', in *Gesammelte politische Schriften*, Tübingen 1971, p. 20; Макс Вебер, «Национальное государство и народнохозяйственная политика», в: Макс Вебер, *Политические работы*. М.: Праксис, 2003, с. 33.

<sup>2</sup> Immanuel Wallerstein, 'The Bourgeois(ie) as Concept and Reality', *New Left Review* 1/167 (January – February 1988), p. 98; Иммануил Валлерстайн, «Буржуа(зия): понятие и реальность с XI по XXI век» // Этьен Балибар и Иммануил Валлерстайн, *Раса, нация, класс: двусмысленные идентичности*. М.: Логос, 2004, с. 169–170.

<sup>3</sup> Ellen Meiksins Wood, *The Pristine Culture of Capitalism: A Historical Essay on Old Regimes and Modern States*, London 1992, p. 3; второй отрывок из: Ellen Meiksins Wood, *The Origin of Capitalism: A Longer View*, London 2002 (1999), p. 63.

<sup>4</sup> Макс Вебер, «Протестантская этика и дух капитализма» // Макс Вебер, *Избранное*. М.: СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2013, с. 13.

<sup>5</sup> Eric Hobsbawm, *The Age of Empire: 1875–1914*, New York 1989 (1987), p. 177; Эрик Хобсбаум, *Век капитала*. Ростов-на-Дону: Феникс, 1999, с. 262.

тус в сочетании с гражданскими титулами и юридическими привилегиями, тогда как рабочий класс характеризуется главным образом занятием ручным трудом. Буржуазия как социальная группа не обладает подобным внутренним единством<sup>6</sup>.

Проницаемые границы и слабое внутреннее единство: не обесценивают ли эти черты саму идею буржуазии как класса? По мнению величайшего из живущих ее историков, Юргена Коки, вовсе нет, если мы будем различать то, что мы могли бы назвать ядром этого понятия, и его внешнюю периферию. Последняя и в самом деле очень сильно варьировалась как в социальном, так и в историческом плане: вплоть до XVIII века она состояла в основном из «самозанятых мелких предпринимателей (ремесленников, розничных торговцев, хозяев постоянных дворов и мелких собственников)» ранней городской Европы; спустя сто лет – из совершенно иного населения, включавшего «средних и мелких клерков государственных служащих»<sup>7</sup>. Однако в течение XIX века по всей Западной Европе появляется синкретическая фигура «имущей образованной буржуазии», что обеспечивает центр притяжения для класса в целом и усиливает в буржуазии черты возможного нового правящего класса: это схождение нашло выражение в немецкой концептуальной паре *Besitzs-* и *Bildungsbürgertum* – имущая буржуазия и буржуазия культуры – или, в более прозаичном ключе, в том, что британская система налогообложения бесстрастно подводит прибыли (от капитала) и гонорары (за профессиональные услуги) «под одну статью»<sup>8</sup>.

Встреча собственности и культуры: идеальный тип Коки – будет и моим идеальным типом, но с одним важным отличием. Как историка литературы, меня будут интересовать не реальные отношения между отдельными социальными группами – банкирами и высокопоставленными государственными служащими, промышленниками и врачами и так далее, – а скорее, то, насколько культурные формы «подходят» для новой реальности классов; то, например, как такое слово, как «комфорт», намечает контуры легитимного буржуазного потребления; или как темп повествования приспосабливается к новому размеренному существованию. Буржуа через призму литературы – вот предмет книги «Буржуа».

<sup>6</sup> Perry Anderson, 'The Notion of Bourgeois Revolution' (1976), in Perry Anderson, *English Questions*, London 1992, p. 122.

<sup>7</sup> Jürgen Kocka, 'Middle Class and Authoritarian State: Toward a History of the German *Bürgertum* in the Nineteenth Century', in Jürgen Kocka, *Industrial Culture and Bourgeois Society. Business, Labor, and Bureaucracy in Modern Germany*, New York/ Oxford 1999, p. 193.

<sup>8</sup> Hobsbawm, *Age of Empire*, p. 172; Хобсбаум, *Век империи*, с. 253–254.



## 2. Диссонансы

Буржуазная культура. *Единая* это культура или нет? «Многоцветный *стяг*... может послужить [символом] для класса, который был у меня под микроскопом», – пишет Питер Гэй, завершая свои пять томов «Буржуазного опыта»<sup>9</sup>. «Экономический эгоизм, религиозная повестка, интеллектуальные убеждения, социальная конкуренция, надлежащее место женщины стали политическими вопросами, из-за которых одни буржуа боролись с другими», – добавляет он в более поздней работе; различия выразились столь ярко, «что есть соблазн усомниться в том, что буржуазия вообще могла поддаваться определению как сущность»<sup>10</sup>. Для Гэя все эти «поразительные различия»<sup>11</sup> – результат ускорения социальных изменений в XIX веке и потому типичны для викторианского периода истории буржуазии<sup>12</sup>. Но на антиномии буржуазной культуры можно взглянуть и из гораздо более широкой перспективы. В своем эссе о капелле Сассетти в церкви Санта-Тринита, отталкиваясь от портрета Лоренцо, нарисованного Макиавелли в «Истории Флоренции» («если сравнить его темную и светлую стороны [*la vita leggera e la grave*], внутри него можно различить две разные личности, которые, кажется, невозможно соединить друг с другом [*quasi con impossibile congiunzione congiunte*]»), Аби Варбург отмечает: житель Флоренции времен Медичи объединял в себе совершенно разные черты идеалиста – будь то христианского идеалиста времен Средневековья, романтического рыцаря или классического неоплатоника – и светского, практичного этрусского торговца-язычника. Естественное, но гармоничное в своей витальности, это загадочное существо с радостью откликалось на каждый психический импульс как на возможность расширения своего ментального горизонта, которую можно развить и использовать в свое удовольствие<sup>13</sup>.

Загадочное существо, идеалистическое и светское. Обращаясь к еще одному золотому веку буржуазии, на полпути между династией Медичи и викторианцами, Саймон Шама размышляет о необычном сосуществовании, позволявшем светским и церковным правителям жить с системой ценностей, которая в противном случае могла бы показаться крайне противоречивой, о многовековой борьбе между приобретательством и аскетизмом <...> Неисправимая привычка потакать своим материальным желаниям и стимулирование рискованных предприятий, тяга к которым укоренена в голландской коммерческой экономике, вызывали предостерегающий ропот и торжественное осуждение завзятых хранителей старой ортодоксии <...> Необычное сосуществование внешне противоположных систем ценностей <...> давало им поле для маневра между святым и профанным, в зависимости от требований нужды или совести, не ставя перед жестоким выбором между бедностью и вечными муками<sup>14</sup>.

Потакание материальным желаниям и старая ортодоксия. «Жители Делфта» Яна Стена (дословно «Бюргер из Делфта»), которые смотрят на нас с обложки книги Шамы (рис. 1): сидящий грузный человек в черном, по одну руку которого дочь в одежде с золотым и серебряным шитьем, а по другую – нищенка в выцветших лохмотьях. Повсюду, от Флоренции до Амстердама, открытое оживление на лицах, изображенных в Санта-Тринита, исчезло. Бюргер безра-

<sup>9</sup> Peter Gay, *The Bourgeois Experience: Victoria to Freud. V. Pleasure Wars*, New York 1999 (1998), pp. 237–238.

<sup>10</sup> Peter Gay, *Schnitzler's Century: The Making of Middle-Class Culture 1815–1914*, New York 2002, p. 5.

<sup>11</sup> Peter Gay, *The Bourgeois Experience: Victoria to Freud. I. Education of the Senses*, Oxford 1984, p. 26.

<sup>12</sup> Ibid., pp. 45ff.

<sup>13</sup> Aby Warburg, 'The Art of Portraiture and the Florentine Bourgeoisie' (1902), in Aby Warburg, *The Renewal of Pagan Antiquity*, Los Angeles 1999, p. 190–191, 218. Похожее соединение несоединимого возникает и на страницах, посвященных Варбургом портрету покровителя во «Фламандском искусстве и раннем флорентийском Ренессансе» (1902): «Руки по-прежнему сложены в самозабвенном жесте, ищущем защиты у небес, но взгляд, то ли в мечтах, то ли настороже, направлен в земную сторону» (p. 297).

<sup>14</sup> Simon Schama, *The Embarrassment of Riches*, California 1988, pp. 338, 371.

достно сидит в своем кресле, как будто пав духом из-за того, что обречен «быть предметом моральных понуканий, тянущих его в разные стороны» (снова Шама); он находится рядом со своей дочерью, но не смотрит на нее, повернулся в сторону женщины, но не к ней самой, он смотрит вниз, взгляд его рассеян. Что делать?



Рис. 1

Ян Стен. «Жители Делфта» (Jan Steen, *The Burgher of Delft and his Daughter*), 1655. С разрешения Bridgeman Art Library.

«Невозможное соединение» Макиавелли, «загадочное существо» Варбурга, «многовековая борьба» Шама: в сравнении с этими ранними противоречиями буржуазной культуры раскрывается суть викторианской эпохи – времени *компромисса* в гораздо большей степени, чем контраста. Компромисс – это, конечно, не единообразие, и викторианцев можно по-прежнему

считать «многоцветными»; однако эти цвета – остатки прошлого, и они теряют свою яркость. Серый, а не *разноцветный* стяг, – вот что развевается над буржуазным веком.

### 3. Буржуазия, средний класс

«Мне трудно понять, почему буржуазии не нравится, когда ее так называют, – пишет Гротуйзен в своем выдающемся исследовании «Происхождение буржуазного духа во Франции», – королей называли королями, священников – священниками, рыцарей – рыцарями; но буржуазия предпочитала хранить инкогнито»<sup>15</sup>. *Garder l'incognito*; неизбежно вспоминается этот вездесущий и неопределенный ярлык – «средний класс». Каждое понятие «задает особый горизонт потенциального опыта и возможной теории», пишет Райнхарт Козеллек<sup>16</sup>, и, выбрав «средний класс» вместо «буржуазии», английский язык, безусловно, задал очень четкий горизонт социального восприятия. Но почему он это сделал? Буржуа возникал «где-то в середине», да – он «не был ни крестьянином, ни крепостным, но также он не был и дворянином», как выразился Валлерстайн<sup>17</sup>, однако эта срединность была тем, что он собственно и желал преодолеть: рожденный в «среднем сословии» Англии раннего Нового времени, Робинзон Крузо отвергает идею своего отца, что это «лучшее сословие в мире», и посвящает всю свою жизнь тому, чтобы выйти за его пределы. Зачем тогда останавливаться на определении, которое возвращает этот класс к его неразличимым истокам, вместо того чтобы признать его успехи? Какие ставки были сделаны при выборе «среднего класса» вместо «буржуа»?

Слово «буржуа» впервые появилось во французском языке XI века как *burgeis* для обозначения тех жителей средневековых городов (*bourgs*), которые пользовались правом «свободы и независимости от феодальной юрисдикции» (Robert). К юридическому значению этого термина – от которого пошла типично буржуазная идея свободы как «свободы от чего-то» – приблизительно в конце XVII века присоединилось экономическое значение, отсылавшее через знакомую серию отрицаний к «тому, кто не принадлежал ни к духовенству, ни к знати, не работал руками и владел независимыми средствами» (снова Robert). С этого момента, хотя хронология и семантика могли быть разными в разных странах<sup>18</sup>, это слово появляется во всех западноевропейских языках, от итальянского *borghese* до испанского *burgués*, португальского *burguês*, немецкого *Bürger* и голландского *burger*. На фоне этой группы английское слово *bourgeois* выделяется как единственный пример слова, не ассимилированного морфологией национального языка, а оставшегося в качестве безошибочно узнаваемого заимствования из французского. И в самом деле, «(французский) горожанин или свободный гражданин» – первое определение *bourgeois* как существительного в [словаре английского языка] OED; «относящийся к французскому среднему классу» – определение прилагательного, тут же подкрепляемое серией цитат, отсылающих к Франции, Италии и Германии. Существительное женского рода *bourgeoise* – «француженка, принадлежащая к среднему классу», тогда как *bourgeoisie* (в

<sup>15</sup> Bernard Groethuysen, *Origines de l'esprit bourgeois en France. I: L'Eglise et la Bourgeoisie*, Paris 1927, p. vii.

<sup>16</sup> Reinhart Koselleck, 'Begriffsgeschichte and Social History', in Reinhart Koselleck, *Futures Past: On the Semantics of Historical Time*, New York 2004 (1979), p. 86.

<sup>17</sup> Wallerstein, 'Bourgeois(ie) as Concept and Reality', pp. 91–92; Валлерстайн, «Буржуа(зия)....», с. 160. За двойным отрицанием у Валлерстайна стоит более далекое прошлое, которое освещает Эмиль Бенвенист в главе «Ремесло без имени: торговля» в своем «Словаре индоевропейских социальных терминов». Вкратце, тезис Бенвениста состоит в том, что торговля – одна из самых ранних форм «буржуазной» деятельности и что «по крайней мере в древности занятия торговлей не относились к тем видам деятельности, которые были освящены традицией», следовательно, она могла быть определена только с помощью отрицательных выражений, таких как греческое *askholia* и латинское *negotium* (*pecotium*, «отрицание досуга»), или общих терминов, таких как греческая *pragmata*, французское *affaires* («результат субстантивации выражения *à faire*») или английское *busy* (которое «дало абстрактное существительное *business*, «занятие, дело»). См.: Emile Benveniste, *Indo-European Language and Society*, Miami 1973 (1969), p. 118; Эмиль Бенвенист, *Словарь индоевропейских социальных терминов*. М.: Прогресс-Универс, 1995, с. 108–109.

<sup>18</sup> Траектория немецкого *Bürger* – от (*Stadt*-)*Bürger* (горожанин) около 1700 года через (*Staats*-)*Bürger* (гражданин) около 1800 г. к *Bürger* (буржуазный) как «непролетарский» около 1900 года – особенно поражает. См.: Koselleck, *Begriffsgeschichte and Social History*, p. 82.

первых трех словарных статьях упоминается Франция, континентальная Европа и Германия), в соответствии со всем сказанным, – «совокупность свободных граждан французского города; французский средний класс; также распространяется и на средний класс в других странах».

*Bourgeois* маркирован как не-английский. В бестселлере Дины Крейк «Джон Галифакс, джентльмен» (1856) – вымышленной биографии владельца текстильной мануфактуры – это слово появляется всего три раза, всегда выделено курсивом в знак того, что оно иностранное, и используется, только чтобы принизить эту идею («Я имею в виду низшее сословие, *буржуазию*») или выразить презрение («Что? *Буржуа* – лавочником?»). Что до прочих романистов времен Крейк, то они хранят полное молчание; в базе данных Чэдвик-Хили, в которой 250 романов составляют своего рода расширенный канон XIX века, слово *bourgeois* попадает только один раз в период 1850–1860 гг., тогда как *rich* [богатый] встречается 4600 раз, *wealthy* [состоятельный] – 613, а *prosperous* [процветающий] – 449. А если мы включим в наше исследование все столетие целиком, подойдя к нему с точки зрения области употребления, а не частотности термина, 3500 романов «Стэнфордской литературной лаборатории» дадут следующие результаты: прилагательное *rich* сочетается с 1060 различными существительными, *wealthy* – с 215, *prosperous* – с 156, а *bourgeois* – с 8, среди которых «семья», «врач», «добродетели», «вид», «наигранность», «театр» и почему-то «геральдический щит».

Откуда такая нерасположенность? В целом, пишет Кока, группы буржуа отделяют себя от старой власти, привилегированной наследной знати и абсолютной монархии... Из этой линии рассуждений следует обратное: в той степени, в которой эти разграничительные линии отсутствуют или стираются, разговоры о *Bürgertum* [бюргерство], которое одновременно и большое по охвату, и строго ограниченное, теряют свою реальную суть. Это объясняет международные различия: там, где традиция аристократии была слабой или отсутствовала (как в Швейцарии и в Соединенных Штатах), где ранние дефеодализация и коммерциализация сельского хозяйства постепенно стерли различие между знатью и буржуазией и даже различие между городом и деревней (как в Англии и Швеции), мы находим мощные факторы, препятствующие формированию хорошо опознаваемого *Bürgertum* и дискурса о нем<sup>19</sup>.

Отсутствие четкой «разграничительной линии» для дискурса о *Bürgertum* – вот, что сделало английский язык столь равнодушным к слову «буржуа». И, наоборот, слово «средний класс» получало поддержку по той простой причине, что многие из тех, кто наблюдал за ранней индустриальной Британией, *хотели* иметь класс посередине. Индустриальные районы, писал Джеймс Милль в работе «О правлении» (1824), «особенно страдали от большого недостатка среднего сословия, потому что там население почти целиком состояло из богатых мануфактурщиков и бедных рабочих»<sup>20</sup>. Бедные и богатые: «нет такого другого города в мире, – отмечал Кэнон Паркинсон в знаменитом описании Манчестера, которому вторили многие его современники, – где бы расстояние между бедными и богатыми было столь значительным или барьеры между ними столь трудно преодолимыми»<sup>21</sup>. По мере того как промышленный рост приводил к поляризации английского общества – «все общество неизбежно распадается на два класса – *собственников* и лишенных собственности *рабочих*», как это было четко заявлено в «Манифесте коммунистической партии» – потребность в опосредовании росла, и класс посередине казался единственным, кто смог бы «сочувствовать» «несчастной доле бедных рабочих» (снова Милль) и в то же время «направлять» их «своими советами» и «подавать хороший пример для подражания»<sup>22</sup>. Он был «связующим звеном между высшими и низшими сословиями», добавлял лорд Бруэм, описавший этот класс – в речи, посвященной «Биллю о

<sup>19</sup> Kocka, 'Middle Class and Authoritarian State', pp. 194–195.

<sup>20</sup> James Mill, *An Essay on Government*, ed. Ernest Baker, Cambridge 1937 (1824), p. 73.

<sup>21</sup> Richard Parkinson, *On the Present Condition of the Labouring Poor in Manchester; with Hints for Improving It*, London/Manchester 1841, p. 12.

<sup>22</sup> Mill, *Essay on Government*, p. 73.

реформе», озаглавленной «Ум среднего класса» – как «истинных носителей трезвого, рационального, разумного и честного английского чувства»<sup>23</sup>.

Если экономика создала широкую историческую потребность в классе посередине, политики добавили решающий тактический поворот. В корпусе *Google Books* «средний класс», «средние классы» и «буржуа» появляются с более или менее одинаковой частотой в период 1800–1825 годы; но во времена, непосредственно предшествующие «Биллю о реформе» 1832 года, когда отношения между социальной структурой и политическим представительством оказались в центре общественной жизни, выражения «средний класс» и «средние классы» внезапно стали использоваться в два-три раза чаще, чем «буржуа». Возможно, потому, что идея «среднего класса» была способом проигнорировать буржуазию как независимую группу и вместо этого взглянуть на нее *сверху*, поручив ей задачу политического сдерживания<sup>24</sup>. Затем, после произошедшего крещения и утверждения нового термина начались всевозможные последствия (и переворачивания): хотя «средний класс» и «буржуа» указывали на абсолютно одну и ту же социальную реальность, они, например, создавали совершенно разные ассоциации – оказавшись «посередине», буржуазия могла показаться группой, которая и сама является подчиненной и не может нести ответственность за происходящее в мире. Кроме того, «низший», «средний» и «высший» образовывали континуум, внутри которого мобильность было представить гораздо легче, чем в случае несоизмеримых категорий – «классов» – таких как крестьянство, пролетариат, буржуазия или знать. И, таким образом, в конечном счете символический горизонт, созданный выражением «средний класс» исключительно хорошо работал для английской (и американской) буржуазии: первоначальное поражение 1832 года, сделавшее невозможным «независимое представительство буржуазии»<sup>25</sup>, в дальнейшем защитило ее от прямой критики, поддерживая эвфемизированную версию социальной иерархии. Гроутуizen был прав: тактика *инкогнито* работала.

<sup>23</sup> Henry Brougham, *Opinions of Lord Brougham on Politics, Theology, Law, Science, Education, Literature, &c. &c.: As Exhibited in His Parliamentary and Legal Speeches, and Miscellaneous Writings*, London 1837, pp. 314–315.

<sup>24</sup> «Жизненно необходимой вещью в ситуации 1830–1832 гг., в представлении министров-вигов, было разрушение альянса радикалов путем вбивания клина между средним и рабочим классами», – пишет Ф. М. Л. Томпсон (F. M. L. Thompson, *The Rise of Respectable Society: A Social History of Victorian Britain 1830–1900*, Harvard 1988, p. 16). Этот клин, вбитый под средним классом, был дополнен обещаниями альянса с ним: «дело первостепенной важности, – заявил лорд Грей, – сделать так, чтобы средние классы были связаны с высшими слоями общества». Тогда как указывает Дрор Уорман, с исключительной четкостью реконструировавший дебаты о среднем классе, знаменитая похвала Бруэма также делала акцент на «политической ответственности <...> а не на непоклонности, верности короне, а не на правах народа, ценностях как оплоте против революции, а не на покушении на свободу» (Dror Wahrman, *Imagining the Middle Class: The Political Representation of Class in Britain, c. 1780–1840*, Cambridge 1995, pp. 308–309).

<sup>25</sup> Perry Anderson, 'The Figures of Descent' (1987), in his *English Questions*, London 1992, p. 145.

## 4. Между историей и литературой

Буржуа между историей и литературой. В этой книге, однако, я ограничусь лишь горсткой возможных примеров. Я начну с буржуа до *prise de pouvoir* [прихода к власти] (глава «Трудящийся господин») – с диалога между Дефо и Вебером о человеке, оказавшемся на необитаемом острове, вырванном из остального человечества, который, однако, начинает видеть закономерности в своем опыте и находить верные слова для их выражения. В главе «Серьезный век» остров становится половиной континента: буржуа распространились по всей Западной Европе и расширили свое влияние во многих направлениях; это самый «эстетический» момент в этой истории – изобретение нарративных приемов, единство стиля, шедевры – великая буржуазная литература, если таковая существовала. Глава «Туман», посвященная викторианской Англии, рассказывает иную историю: после десятков лет невероятных успехов буржуа больше не может быть просто «собой»; его власть над остальной частью общества – его «гегемония» – оказалась под вопросом; и именно в этот момент буржуа вдруг начинает стыдиться себя; он завоевал власть, но утратил ясность зрения – свой «стиль». Это поворотный момент в книге, а также момент истины: оказалось, что буржуа гораздо лучше умеет властвовать в экономической сфере, чем укреплять политическое присутствие и формулировать общую культуру. Затем солнце века буржуа начинает клониться к закату: в южных и восточных регионах, описанных в главе «Национальные деформации», одна великая фигура за другой переживает крах и становится всеобщим посмешищем из-за сохранения старого режима; в это же время из трагической ничейной земли (которая, конечно, шире, чем Норвегия) раздается радикальная самокритика буржуазного существования в драматургическом цикле Ибсена (глава «Ибсен и дух капитализма»).

На данный момент этого краткого пересказа будет достаточно, позвольте мне только добавить несколько слов об отношениях между изучением литературы и изучением истории как таковой. Какого рода истории – какого рода *свидетельство* дают литературные произведения? Очевидно, что они никогда не бывают прямыми: промышленник Торнтон в «Севере и Юге» (1855) или предприниматель Вокульский в «Кукле» (1890) ничего не говорят о буржуазии Манчестера или Варшавы. Они принадлежат к параллельной исторической линии – к своего рода двойной спирали, в которой судорогам капиталистической модернизации соответствует преобразующее их литературное формообразование. «Всякая форма – это разрешение диссонансов бытия», – писал молодой Лукач в «Теории романа»<sup>26</sup>; а если так, тогда литература – это странный мир, в котором все эти разрешения сохраняются в неприкосновенности – проще говоря, они представляют собой тексты, которые мы продолжаем читать, когда сами диссонансы постепенно исчезли из виду: чем меньше от них осталось следов, тем успешнее оказалось их разрешение.

Есть нечто призрачное в этой истории, в которой вопросы исчезают, а ответы остаются. Но если мы примем идею литературной формы как останков того, что некогда было живым и проблематичным настоящим, и если будем двигаться назад с помощью «обратной разработки», мы поймем проблему, которую эта форма была призвана решать; если мы это сделаем, формальный анализ сможет раскрыть – в принципе, хотя и не всегда на практике – то измерение прошлого, которое в противном случае оставалось бы скрытым. В этом состоит возможный вклад в историческое знание: поняв непрозрачные ибсеновские намеки на прошлое или уклончивую семантику викторианских глаголов, даже (на первый взгляд, не слишком веселая задача)

<sup>26</sup> Georg Lukács, *The Theory of the Novel*, Cambridge, MA, 1974 (1914–1915), p. 62; Георг Лукач, «Теория романа», *Новое литературное обозрение*. 1994, № 9, с. 30.

роль герундия в «Робинзоне Крузо», мы войдем в царство теней, в котором прошлое снова обретает голос и продолжает с нами говорить<sup>27</sup>.

---

<sup>27</sup> Эстетические формы представляют собой структурированные ответы на социальные противоречия: учитывая отношения между историей литературы и социальной историей, я предположил, что очерк «Серьезный век», хотя он и был первоначально написан для литературоведческого сборника, хорошо впишется в данную книгу (в конце концов, его рабочим названием долгое время было «О буржуазной серьезности»). Но когда я перечитал это эссе, то тут же почувствовал (под «почувствовал» я имею в виду иррациональное и непреодолимое чувство), что мне придется вырезать значительную часть первоначального текста и переписать оставшуюся. После редактуры я осознал, что это коснулось главным образом трех разделов (все они были озаглавлены в первоначальном варианте «Дороги разошлись»), которые обрисовывали более широкий морфологический пейзаж, внутри которого складывались формы буржуазной серьезности. Иными словами, я ощутил необходимость убрать спектр формальных вариаций, который был дан исторически, и оставить результат отбора, произошедшего в XIX веке. В книге, посвященной буржуазной культуре, это представляется убедительным выбором. Но это также подчеркивает разницу между литературной историей как историей *литературы* – в которой плюрализм и случайность формальных вариантов является ключевым элементом картины – и литературной историей как (частью) историей *общества*, в которой значение имеет связь между конкретной формой и социальной функцией.



## 5. Абстрактный герой

Но время говорит с нами только через форму как медиум. Истории и стили: вот где я нахожу буржуа. Особенно в стилях; что само по себе удивительно, учитывая, как часто говорят о нарративах как основании социальной идентичности<sup>28</sup> и как часто буржуазия отождествлялась с волнениями и переменами – от некоторых знаменитых сцен «Феноменологии духа» до «все сословное и застойное исчезает» [в английском переводе дословно «все твердое, превращается в воздух». – *Примеч. пер.*] в «Манифесте Коммунистической партии» и созидательного разрушения у Шумпетера. Поэтому я ожидал, что буржуазную литературу будут характеризовать новые и непредсказуемые сюжеты: «прыжки в темноту», как писал Эльстер о капиталистических инновациях<sup>29</sup>. А вместо этого, как я утверждаю в «Серьезном веке», происходит обратное: *упорядоченность*, не дисбаланс, была главным повествовательным изобретением буржуазной Европы<sup>30</sup>. Все твердое затвердевает еще больше.

Почему? Главная причина, по-видимому, заключается в самом буржуа. В ходе XIX столетия, как только было смыто позорное клеймо «нового богатства», эта фигура приобрела несколько характерных черт: это, прежде всего, энергия, самоограничение, ясный ум, честность в ведении дел, целеустремленность. Это все «хорошие» черты, но они недостаточно хороши, чтобы соответствовать тому типу героя повествования, на которого столетиями полагалось сюжетостроение в западной литературе – воину, рыцарю, завоевателю, авантюристу. «Фондовая биржа – слабая замена Священному Граалю», – насмешливо писал Шумпетер, а деловая жизнь – «в кабинетной тиши среди бесчисленных столбцов цифр» – обречена быть «антигероической»<sup>31</sup>. Дело в огромном разрыве между старым и новым правящими классами: если аристократия бесстыдно себя идеализировала, создав целую галерею рыцарей без страха и упрека, буржуазия не создала подобного мифа о себе. Великий механизм приключения [adventure] был постепенно разрушен буржуазной цивилизацией – а без приключения герои утратили отпечаток *уникальности*, которая появляется от встречи с неизведанным<sup>32</sup>. По сравнению с рыцарем, буржуа кажется неприметным и неуловимым, похожим на любого другого буржуа. Вот сцена из начала «Севера и юга», в которой героиня описывает своей матери манчестерского промышленника:

– О, я едва знаю, что он из себя представляет, – сказала Маргарет <...>, – около тридцати, с лицом, которое нельзя назвать совсем заурядным, но

<sup>28</sup> Недавний пример из книги о французской буржуазии: «Здесь я выдвигаю тезис, что существование социальных групп, хотя оно и имеет корни в материальном мире, определяется языком, а точнее нарративом: чтобы группа могла претендовать на роль актора в обществе и политическом строе, она должна располагать историей или историями о себе» (Sarah Maza, *The Myth of the French Bourgeoisie: An Essay on the Social Imaginary, 1750–1850*, Cambridge, MA, 2003, p. 6).

<sup>29</sup> Шумпетер «восхвалял капитализм не за его эффективность и рациональность, но за его динамичный характер... Вместо того чтобы ретушировать творческие и непредсказуемые аспекты инноваций, он делает их краеугольным камнем своей теории. Инновация по сути своей феномен нарушения равновесия – прыжок в темноту» (Jon Elster, *Explaining Technical Change: A Case Study in the Philosophy of Science*, Cambridge 1983, pp. 11, 112).

<sup>30</sup> Такое же буржуазное сопротивление нарративу вырисовывается из исследования Ричардом Хелгерсоном золотого века голландского реализма: визуальной культуры, в которой «женщины, дети, слуги, крестьяне, ремесленники и повесы *действуют*», тогда как «мужчины-хозяева из высших классов <...> *существуют*», и которая находит свою любимую форму в жанре портрета. См.: Richard Helgersen, 'Soldiers and Enigmatic Girls: The Politics of Dutch Domestic Realism, 1650–1672', *Representations* 58 (1997), p. 55.

<sup>31</sup> Joseph A. Schumpeter, *Capitalism, Socialism and Democracy*, New York 1975 (1942), pp. 137, 128; Йозеф Шумпетер, *Капитализм, социализм и демократия*. М.: Экономика, 1995, с. 192, 179. В том же ключе Вебер вспоминает определение века Кромвеля у Карлейля как «the last of our heroism [последней вспышки нашего героизма]» (Weber, *Protestant Ethic*, p. 37; Вебер, *Протестантская этика и дух капитализма*, с. 20).

<sup>32</sup> Об отношениях между менталитетом авантюриста и духом капитализма, см.: Michael Nerlich, *The Ideology of Adventure: Studies in Modern Consciousness, 1100–1750*, Minnesota 1987 (1977) и первые два параграфа следующей главы.

нельзя и назвать красивым, ничего примечательного – не совсем джентльмен, но этого едва ли можно было ожидать.

– Хотя не вульгарный и не простоватый», – добавил ее отец<sup>33</sup>.

Едва ли, около, не совсем, ничего... Суждение Маргарет, обычно весьма острое, теряется в водовороте оговорок. Дело в *абстрактности* буржуа как типа: в крайней форме это просто «персонифицированный капитал» или даже «машина для превращения <...> прибавочной стоимости в добавочный капитал», если процитировать несколько пассажей из «Капитала»<sup>34</sup>. У Маркса, как позднее и у Вебера, методическое подавление всех чувственных черт мешает представить, как такого рода персонаж вообще может служить центром интересной истории – если, конечно, это *не есть* история его самоподавления, как в портрете Томаса Будденброка у Манна (который произвел глубокое впечатление на самого Вебера)<sup>35</sup>. Иначе обстоит дело в более ранний период или на периферии капиталистической Европы, где слабость капитализма как системы оставляет больше свободы для того, чтобы придумать такие мощные индивидуальные фигуры, как Робинзон Крузо, Джезуальдо Мотта или Станислав Вакульский. Но там, где капиталистические структуры затвердевают, нарративы и стилистические механизмы вытесняют индивидов из центра текста. Это еще один способ посмотреть на структуру этой книги: две главы о буржуазных героях – и две о буржуазном языке.

---

<sup>33</sup> Elizabeth Gaskell, *North and South*, New York/London 2005 (1855), p. 60.

<sup>34</sup> Karl Marx, *Capital*, vol. I, Harmondsworth 1990 (1867), pp. 739, 742; Карл Маркс и Фридрих Энгельс, *Сочинения*. Т. 23. М.: Государственное издательство политической литературы, 1960, с. 605, 609.

<sup>35</sup> О Манне и буржуазии, кроме многочисленных работ Лукача, см.: Alberto Asor Rosa, 'Thomas Mann o dell'ambiguità borghese', *Contropiano* 2: 68 и 3: 68. Если был какой-то специфический момент, когда идея книги о буржуа пришла мне в голову, это произошло более сорока лет назад во время чтения Азора. Написание книги по-настоящему началось в 1999–2000 гг. Во время годового пребывания в Институте перспективных исследований (Wissenschaftskolleg) в Берлине.

## 6. Проза и ключевые слова: предварительные замечания

Ранее я писал, что нахожу буржуа ярче проявленным в стиле, чем в сюжетах, а под стилем я понимаю главным образом две вещи: прозу и ключевые слова. Риторика прозы будет постепенно перемещаться в центр нашего внимания, аспект за аспектом (континуальность, точность, продуктивность, нейтральность...), в первых двух главах книги, я провожу генеалогии через XVIII и XIX век. Буржуазная проза была великим достижением – и крайне *трудоемким* [laborious]. Отсутствие в ее мире какой-либо концепции «вдохновения» – этого дара богов, в котором идея и результаты волшебным образом сливаются воедино в уникальном миге творения – показывает, до какой степени невозможно было представить себе прозу без того, чтобы сразу же не вспомнить о *труде*. О языковом труде, конечно, но такого рода, который воплощает в себе некоторые из типичных черт деятельности буржуа. Если у книги «Буржуа» есть главный герой, то это, конечно, трудоемкая проза.

Проза, которую я сейчас обрисовал, – это идеальный тип, никогда полностью не реализованный ни в одном конкретном тексте. Иное дело ключевые слова; это настоящие слова, употреблявшиеся реальными писателями, которые можно легко отследить в той или иной книге. В данном случае концептуальная рамка была заложена десятки лет назад Рэймондом Уильямсом в «Культуре и обществе» и в «Ключевых словах», а также Райнхартом Козеллеком в его работе над *Begriffsgeschichte* [историей понятий]. Для Козеллека, занятого изучением политического языка современной Европы, «понятие не только указывает на отношения, которые оно охватывает; оно также является *фактором*, действующим внутри них»<sup>36</sup>; точнее говоря, это фактор, который устанавливает «напряжение» между языком и реальностью и часто «сознательно используется в качестве оружия»<sup>37</sup>. Хотя он важен для интеллектуальной истории, этот метод, возможно, не подходит для социального существа, которое, как выражается Гротуйзен, «действует, но мало говорит»<sup>38</sup>, а когда говорит, предпочитает простые и бытовые выражения интеллектуальной ясности понятий. «Оружие» – конечно же, неправильный термин для прагматичных и конструктивных ключевых слов вроде *useful* [полезный], *efficiency* [эффективность], *serious* [серьезный], не говоря уже о таких великих посредниках, как *comfort* [комфорт] или *influence* [влияние], которые гораздо ближе к идее Бенвениста о языке как об «орудии приспособления окружающей действительности и общества»<sup>39</sup>, чем к «напряжению» Козеллека. Я полагаю неслучайным, что многие из моих ключевых слов оказались прилагательными: занимающие не такое центральное положение в семантической системе культуры, как существительные, прилагательные несистематичны и в самом деле «приспосабливаются»; или, как презрительно говорит Шалтай-Болтай, «с прилагательными попроще – с ними делай что хочешь»<sup>40</sup>.

Проза и ключевые слова: два параллельных течения, которые будут всплывать на поверхность аргументации на разных уровнях – абзацев, предложений или отдельных слов. Через них будут проявляться особенности буржуазной культуры, находящиеся в скрытом и порой глубоко захороненном измерении языка: «ментальность», образованная бессознательными грамматическими паттернами и семантическими ассоциациями, а не ясными и четкими идеями. Первоначально план книги был иным, и порой меня самого смущает тот факт, что страницы, посвя-

<sup>36</sup> Koselleck, 'Begriffsgeschichte and Social History', p. 86.

<sup>37</sup> Ibid., p. 78.

<sup>38</sup> Groethuysen, *Origines I*, p. xi.

<sup>39</sup> Emile Benveniste, 'Remarks on the Function of Language in Freudian Theory', in Emile Benveniste, *Problems in General Linguistics*, Oxford, OH, 1971 (1966), p. 71 (курсив мой. – Ф. М.); Эмиль Бенвенист, «Заметки о роли языка в учении Фрейда» // Эмиль Бенвенист, *Общая лингвистика*. М.: Прогресс, 1974, с. 122 (перевод исправлен. – Примеч. пер.).

<sup>40</sup> Lewis Carroll, *Through the Looking-Glass, and What Alice Found There*, Harmondsworth 1998 (1872), p. 186.

щенные викторианским прилагательным, могут оказаться концептуальным центром «Буржуа». Но если идеям буржуа уделялось очень много внимания, его менталитет, за исключением нескольких изолированных попыток вроде очерка Гротуйзена, написанного почти столетие назад, по-прежнему остается не слишком изученным; тогда *minutiae* [мелкие детали] языка раскрывают секреты великих идей: трения между новыми устремлениями и старыми привычками, фальстарты, колебания, компромиссы; одним словом, *замедленный темп* культурной истории. Для книги, рассматривающей буржуазную историю как незавершенный проект, это представляется верным методологическим выбором.

## 7. «Бюргер пропадет...»

14 апреля 1912 года Бенджамин Гугенхайм, младший брат Соломона Гугенхайма, оказался на борту «Титаника», и, когда судно начало тонуть, он был одним из тех, кто помогал сажать женщин и детей на спасательные шлюпки, несмотря на ажиотаж, а порой и грубость, со стороны других пассажиров-мужчин. А затем, когда его слугу попросили занять место на веслах в одной из шлюпок, Гугенхайм отпустил его и попросил передать жене, что «ни одна женщина не осталась на борту из-за того, что Бен Гугенхайм струсил». И это действительно было так<sup>41</sup>. Возможно, он не говорил таких громких слов, но это и в самом деле неважно; он совершил правильный, очень трудный поступок. Поэтому, когда исследователь, занимавшийся подготовкой к фильму Кэмерона «Титаник» (1997), раскопал эту историю, он сразу показал ее сценаристам: какая сцена! Но его идею сразу отвергли: слишком нереалистично. Богатые не умирают за абстрактные принципы вроде трусости и тому подобного. Поэтому в фильме персонаж, отдаленно напоминающий Гугенхайма, прорывается к шлюпке, размахивая пистолетом.

«Бюргер пропадет», писал Томас Манн в своем эссе 1932 года «Гете как представитель бюргерской эпохи», и оба момента, связанные с «Титаником» и произошедшие в начале и в конце XX века, это подтверждают. Пропадет не потому, что пропадет капитализм: он силен как никогда (хотя в основном, подобно Голему, силен разрушением).

Исчезло чувство *легитимности* буржуа: идея правящего класса, который не просто правит, но делает это *заслуженно*. Именно это убеждение стояло за словами Гугенхайма на «Титанике»; на карту был поставлен «престиж (а следовательно, и доверие)» его класса, если воспользоваться словами Грамши о гегемонии<sup>42</sup>. Отступить означало потерять право на власть.

Власть, имеющую в качестве оправдания ценности. Но как раз в тот момент, когда встал вопрос о политическом правлении буржуазии<sup>43</sup>, быстро сменяя друг друга, появились три важных новшества и навсегда изменили картину. Сначала произошел политический крах. Когда *belle époque* [прекрасная эпоха] подходила к своему пошловатому концу, подобно оперетте, в которую она так любила смотреться, как в зеркало, буржуазия, объединившись со старой элитой, вовлекла Европу в кровавую бойню; после этого она со своими интересами пряталась за спинами коричнево- и чернорубашечников, открыв путь к еще более кровавым бойням. Когда старый режим клонился к закату, новые люди оказались неспособны действовать как настоящий правящий класс: когда в 1942 году Шумпетер написал с холодным презрением, что «буржуазия... нуждается в хозяйской руке»<sup>44</sup>, не было нужды объяснять, что он имеет в виду.

Вторая трансформация, почти противоположная по характеру, началась после Второй мировой войны по мере все более широкого учреждения демократических режимов. «Особенность исторического одобрения, полученного от масс в рамках современных капиталистических формаций, – пишет Перри Андерсон:

состоит в убежденности масс в том, что они осуществляют окончательное самоопределение в рамках существующего социального порядка... Вера в демократическое равенство всех граждан при управлении

<sup>41</sup> John H. Davis, *The Guggenheims, 1848–1988: An American Epic*, New York 1988, p. 221.

<sup>42</sup> Antonio Gramsci, *Quaderni del carcere*, Torino 1975, p. 1519.

<sup>43</sup> Став «первым классом в истории, достигшим экономического преобладания без посягательств на политическое господство», пишет Ханна Арендт, буржуазия добилась «политической эмансипации» в ходе «периода империализма (1886–1914)». Hannah Arendt, *The Origins of Totalitarianism*, New York 1994 (1948), p. 123; Ханна Арендт, *Истоки тоталитаризма*. М.: ЦентрКом, 1996, с. 185.

<sup>44</sup> Schumpeter, *Capitalism, Socialism and Democracy*, p. 138; Шумпетер, *Капитализм, социализм и демократия*, с. 193

страной – другими словами, неверие в существование какого бы то ни было правящего класса<sup>45</sup>.

Скрывшись когда-то за рядами людей в униформе, буржуазия теперь избежала правосудия, воспользовавшись политическим мифом, требовавшим, чтобы она исчезла как класс; этот акт маскировки значительно упростился благодаря вездесущему дискурсу «среднего класса». И наконец, последний штрих. Когда капитализм принес относительное благоденствие широким рабочим массам на Западе, товары стали новым принципом легитимации: консенсус был построен на вещах, а не на людях – тем более не на принципах. Это была заря нынешней эпохи: триумф капитализма и смерть буржуазной культуры.

В этой книге многого не хватает. Какие-то вещи я обсуждал в других работах и почувствовал, что не могу добавить ничего нового: так обстоит дело с бальзаковскими парвеню или средним классом у Диккенса, которые играли важную роль в «Путях мира» и «Атласе европейского романа». Американские авторы конца XIX века – Норрис, Хоуэллс, Драйзер – как мне показалось, мало что могли добавить к общей картине; кроме того, «Буржуа» – это пристрастный очерк, лишенный энциклопедических амбиций. Тем не менее есть одна тема, которую я бы и в самом деле хотел включить сюда, если бы она не угрожала разрастись до самостоятельной книги: параллель между викторианской Британией и Соединенными Штатами после 1945 года, раскрывающая парадокс этих двух капиталистических культур-гегемонов – до сих пор единственных в своем роде – основанных главным образом на антибуржуазных ценностях<sup>46</sup>. Я, конечно же, имею в виду повсеместное распространение религиозного чувства в публичном дискурсе, которое переживает рост, резко обратив вспять более ранние тенденции к секуляризации. Одно и то же происходит с великими технологическими достижениями XIX и второй половины XX века: вместо того чтобы поддерживать рационалистическую ментальность, индустриальная, а затем и цифровая, «революции» породили смесь невероятной научной безграмотности и религиозных предрассудков – сейчас даже худшую, чем тогда. В этом отношении сегодняшние Соединенные Штаты радикализируют центральный тезис викторианской главы: поражение веберовского *Entzauberung* [расколдования мира] в сердцевине капиталистической системы и его замену новыми сентиментальными чарами, скрывающими социальные отношения. В обоих случаях ключевым компонентом стала радикальная инфантилизация национальной культуры – от ханжеской идеи «семейного чтения», которая привела к цензурированию непристойностей в викторианской литературе, до ее слащавого аналога – семьи, улыбающейся с телеэкрана, – который усыпил американскую индустрию развлечений<sup>47</sup>. И эту параллель можно продолжить почти что во всех направлениях, от антиинтеллектуализма «полезного» знания и значительной части политики в области образования – начиная с навязчивого увлечения спортом – до повсеместного распространения таких слов, как *earnest* [серьезный] (тогда) и *fun* [веселье] (сейчас), в которых чувствуется едва прикрытое презрение к интеллектуальной и эмоциональной серьезности.

«Американский образ жизни» – аналог сегодняшнего викторианства: сколь бы соблазнительной ни была эта идея, я слишком хорошо сознавал мою неосведомленность в совре-

<sup>45</sup> Perry Anderson, 'The Antinomies of Antonio Gramsci', *New Left Review* I/100 (November – December 1976), p. 30.

<sup>46</sup> В повседневном словоупотреблении термин «гегемония» охватывает две исторически и логически разные области: гегемонию капиталистического государства над другими капиталистическими государствами и гегемонию одного социального класса над другими социальными классами, или, говоря короче, международную и национальную гегемонию. Британия и Соединенные Штаты до сих пор были единственными примерами *международной* гегемонии, но, конечно, было множество примеров национальных классов буржуазии, осуществлявших свою гегемонию дома. Мой тезис в этом абзаце и в главе «Туман» относится к специфическим ценностям, которые я ассоциирую с британской и американской *национальной* гегемонией. То, как эти ценности соотносятся с теми, что стали основой международной гегемонии, – очень интересный вопрос, но он здесь не разбирается.

<sup>47</sup> Показательно, что наиболее репрезентативные рассказчики в двух культурах – Диккенс и Спилберг – оба специализируются на том, что в одинаковой мере обращаются как к детям, так и ко взрослым.

менных вопросах и поэтому решил ее сюда не включать. Это было правильное, но трудное решение, потому что оно было равносильно признанию, что «Буржуа» – это исключительно историческое исследование, в сущности не связанное с настоящим. Профессора истории, размышляет доктор Корнелиус в «Непорядках и раннем горе»: «не любят истории, коль скоро она свершается, а тяготеют к той, что уже свершилась... Их сердца принадлежат связному и укрощенному историческому прошлому... прошлое незыблемо в веках, а значит оно мертво»<sup>48</sup>. Подобно Корнелиусу, я тоже профессор истории, но мне хочется думать, что укрощенная безжизненность – это не все, на что я способен. В этом отношении посвящение «Буржуа» Перри Андерсону и Паоло Флоресу Аркаису – знак не просто моей дружбы и восхищения ими, оно выражает надежду, что однажды я у них научусь использовать знание прошлого для критики настоящего. Эта книга не смогла оправдать эту надежду. Но, возможно, следующая сможет.

---

<sup>48</sup> Thomas Mann, *Stories of Three Decades*, New York 1936, p. 506; Томас Манн, *Полное собрание сочинений*. Т. 8. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1960, с. 137.

## Глава I

### Трудящийся господин

#### 1. Приключение, предприятие, Фортуна

Начало известно: отец предостерегает сына, заявляя, что нельзя покидать «среднее сословие» (*middle state*) – в равной мере свободное и от «труда и страданий механической части человечества», и от «гордыни, роскоши, амбиций и зависти высшей его части» – и становиться одним из тех, кто отправляется «за границу в поисках приключений, чтобы разбогатеть на каком-нибудь предприятии»<sup>49</sup>. Приключение/авантюра и предприятие – вместе. Потому что приключение в «Робинзоне Крузо» (1719) означает нечто большее, чем «странные, удивительные» происшествия – Кораблекрушение, Пираты, Необитаемый остров, Великая река Оронок, – вынесенные на титульный лист книги; когда Робинзон во время своего второго путешествия везет на борту «небольшую авантюру [*a small adventure*]]»<sup>50</sup>, слово обозначает не тип события, а форму капитала. В начале истории современного немецкого языка, пишет Майкл Нерлих, слово «авантюра» входило в «повседневную торговую терминологию», указывая на «чувство риска (которое также называлось *angst*

---

<sup>49</sup> Daniel Defoe, *Robinson Crusoe*, Harmondsworth 1965 (1719), p. 28. (Здесь и далее цитаты из «Робинзона Крузо» приводятся в моем переводе, учитывающем аргументацию автора. – Примеч. пер.)

<sup>50</sup> Ibid., p. 39.



## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.